

Е. Трофимов

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»: ПОВЕСТЬ О «ЛЖЕПРОРОКЕ»

Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» вызывает у современного читателя недоумение: она кажется случайной в творчестве Достоевского; примешивается также ощущение некой авторской недоговоренности и непроясненности текста. Даже среди исследователей повести весьма расхоже мнение о ее «лабораторности». Думается, оно связано с той традицией, которая задана Ю.Н. Тыняновым¹. Однако понятно, что невозможно ограничиться рассмотрением только пародийных пластов произведения.

Иное понимание заявлено в работах В.А. Туниманова, замечающего «завершенность» типов, данных Достоевским. Указан и центральный импульс действия, связанный с образом Фомы Опискина: «В реальнейший мир, казалось, вторглась нечистая сила, перевернувшая все вверх дном. Прервалось нормальное течение жизни, превратившейся в бесконечный кошмарный спектакль»². Этот подход помогает вычленить «принципы психологической поляризации» и несколько дезавуировать мысль Ю.Н. Тынянова: «С некоторой долей уверенности (и с опорой на поздние произведения) можно говорить лишь, что в романе пародируются не „характер“ и „быт“ Гоголя, а неуместно торжественный поведенческий тон „Переписки“ — признак „неискренности“»³.

Не менее заметен отход от «тыняновского» прочтения в статьях Л.М. Лотман, обращающейся к библейским ассоциациям⁴. Правда, ее интересуют скорее «литературный подтекст» и параллели, чем онтологическая означенность образов. Да и некоторые прямые сравнения, например Фалалея и пророка Даниила, вызывают резонный скепсис. В то же время очевидно, что насыщенность повести множеством символических отсылок к Библии вовсе не следствие языковой традиции или дань общепринятому повествовательному употреблению. Природа их возникновения сверхлитературна и сверхпсихологична. Они и есть сцепления смысла. Раскрытие и объяснение их предложено Ю.И. Мармеладовым. Полагая, что «сцена грозы является ключевым моментом всего повествования», и соотнеся ее, вслед за Достоевским, с днем Илии-пророка,

¹ См.: Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь: (К теории пародии) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

² Туниманов В.А. Творчество Достоевского. 1851–1862. Л., 1980. С. 35.

³ Там же. С. 44.

⁴ См.: Лотман Л.М. О литературном подтексте одного из эпизодов повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (Сон про белого быка) // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1996. Т. 12.

исследователь видит в образе Фомы Фомича «падшего ангела», а в фигуре полковника Ростанева — уподобление «Илье-пророку и Богу»⁵.

Обратившись к тексту повести, попытаемся понять степень такой семантики.

В письме А. Майкову из Семипалатинска от 18 января 1856 г. Достоевский подтверждает: «Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия» (28₁; 173). Внимание к вопросам национальной жизни и исторического национального состояния — закономерное следствие подобного убеждения. Напомним, что непосредственно работать над повестью Достоевский стал, вероятнее всего, не ранее осени 1857 г. Само название произведения фундаментально встроено в систему его новых взглядов. «Село Степанчиково» — нечто коренное, «земельное»; русское пространство. Провинция как место действия — знаковая сфера «своего». Оттого существенная тема повести — о русской специфике. Достоевский заговорил с современниками согласно их художественным правилам. Но автор «Села Степанчикова» осознавал и свою отстраненность от становящегося «модным» изображения. Брату Михаилу он признавался, что «положил» в повесть «душу» свою, «плоть и кровь», что здесь «есть два огромных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет <...> вполне русских, плохо до сих пор указанных русской литературой» (28₁; 324–327). Произведение создано не как литературная, формальная забава: но авторская идея сокрыта за комизмом. Достоевский тенденциозен, и в такой степени — публицистичен. Не случайно повесть непосредственно соотносится с размышлениями о народе, какие будут объявлены в статьях «Книжность и грамотность».

Комплекс идей о народно-христианском идеале, о разрыве между культурным слоем нации и почвой, между цивилизованным верхом и всечеловеческой истиной, хранимой в народе, пафос собирания русского мира воедино задают параметры сюжета и композиции. Они же драматизируют описательные картины, поскольку единство как вывод из противоречий бытия приходит после решительного противодействия двух начал — национально-укорененного и беспочвенного.

Достоевский изображает духовную общность, что подверглась влиянию разрушительного идолопоклонства. Метатема повести — времена Ноя. Она проступает сразу же — в рассказе племянника Ростанева, констатирующего, что «дом дяди стал похож на Ноев ковчег» (3; 6). Затем вдруг о том же заговорит сам полковник. Он сообщает об истории своего «экзаменаторства»: «Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаменаторами, так, для почету, лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то напал: решительно ни одной науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом — ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной?» (3; 71). Читателю приходится вспомнить,

⁵ Мармеладов Ю. И. Тайный код Достоевского. Илья-пророк в русской литературе. СПб., 1992. С. 30–46.

что «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом» (Быт. 6: 9). Придется вспомнить и то, что «земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6: 11). Тогда «и сказал <Господь> Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями: и вот, Я истреблю их с земли» (Быт. 6: 13). Таким образом, историческая ситуация, эксплицированная в повести, — времена «растления». Обстоятельства отличаются крайней нестройностью оснований. Следовательно, достойный пример — праведности и послушания, беспорочной верности.

С такой символикой согласуются еще две характеристики эпохи — «бедлам» и «Содом». Обе принадлежат рассказчику. «Бедлам» — хаос (слово пришло из Англии, от названия дома умалишенных). Вторая возникает после изгнания Фомы Фомича: «Содом был ужаснейший!» (3; 142). Нет надобности сколь-либо комментировать библейское повествование о грешных городах. Ковчег не становится спасительной ладьей, совсем наоборот: дом Ростанева разлажен, потому что в нем нашлось место искусителю и искушению. Мир этот на грани уничтожения. О причине безумия догадывается полковник, сокрушающийся в разговоре со своим племянником: «И зачем это люди все злятся, все сердятся, ненавидят друг друга?» (3; 110). В ту давнюю пору было то же самое: «все мысли и помышления сердца их [человеков на земле] были зло во всякое время» (Быт. 6: 5). Даже генеральша, «тощая и злая старуха» — по выражению ее собственного внука, впадала в уныние от ощущения конца: «...ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт» (3; 45).

Пожалуй, впервые у Достоевского так явно выражено в художественном тексте эсхатологическое настроение, оказывающее воздействие на сюжет. Вот и гроза в праздник именин — в день Илии-пророка — повторение низвергнутой влаги-наказания. Сравним. «Вслед за громом полился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым» (3; 142). «Через семь дней воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день... месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отверзлись; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» (Быт. 7: 10–12). Внешне надуманный, искусственный драматизм повести имеет внутри себя значимое оправдание, так как природа его — вне пределов обычных прозаических стандартов. Он онтологически установлен и в такой степени метафизически осмыслен.

Эпилог-идиллия возникает во многом по тем же причинам. Библия свидетельствует, что «не будет уже потопа на опустошение земли»; с потомками Ноя Бог установил завет, «что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа» (Быт. 9: 11). Завершение «Села Степанчикова» — некое подобие такого завета, нейтрализация мотивов эсхатологических.

В этом случае важно понять, к какому же периоду относит Достоевский наступление постпотопного просветления. Предварительно уточним реальную хронологию, детали которой названы в тексте повести. Упоминается, что Ежевикин потерял службу в «тысяча восемьсот сорок первом году» (3; 50), и теперь «вот уж девятый год» пошел, когда он лишен места (3; 52). Несложные расчеты показывают, что главные события произведения связаны с 1849–1850 г. В эпилоге Сергей Александрович расставит дополнительные вехи: «Свадьба „осчастливленных“ произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий» (то есть после 20 июля по старому стилю — до Илии-пророка); «ровно семь лет» существовали они вместе с Фомой Фомичем (то есть до 1856–1857 г.), пока «в прошлом году» Фома не умер (3; 163–164). Получается, что «записки неизвестного» создаются в 1857–1858 гг. Это фактически соответствует действительному времени — работе Достоевского над текстом в 1850-е гг. и публикации повести в ноябрьской и декабрьской книжках «Отечественных записок» за 1859 г. «Село Степанчиково» как бы обозначает существенный перелом, произошедший по истечении сороковых годов, какие столь сложно оцениваются писателем. Именно тогда, по его мысли, проявились приметы личностного самообожествления, и тогда же попустительство и душевная слабость открыли путь лжепророкам к их идольскому утверждению. Середина же века сделала эти проблемы очевидными. Достоевский полагает, что даже такое вызволение заблуждений на поверхность — начало освобождения от них. Конец пятидесятых — выход из безрассудства, продемонстрированного в 1840-е гг. — в эпоху расслоения, раскола. Вместо безотчетной идеальности необходима отрефлектированная и заново прочувствованная правда собственно национальной — со Христом — жизни.

В личной биографии писателя поворот к этому связан, как известно, с обнаружением «почвы».

Пристальное внимание к национальной субстанции и подвигает автора «Села Степанчикова» на то, чтобы привести в соответствие с художественным пространством художественное время. Основные события происходят в течение двух дней — накануне праздника Илии-пророка и в сам — особо чтимый народом — праздник. С начала повести смысл концентрируется вокруг памятного дня. Бахчеев говорит: «Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. <...> Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит <...> „Так вот нет же, говорит, и я именинник?“ Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! „Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!“» (3; 27). Претензия Опискина, внешне безобидная и вздорная, дорастает до метафизических масштабов. Присвоить 20 июля — завладеть космосом.

Пророк Илия прославлен был в царствование Ахава, когда среди израильского народа укрепилось почитание Ваала и Астарты. Илия обличал кумиробожничество, наставлял земных царей, будучи вестником гнева Саваофа. К небу он вознесен на огненной колеснице во плоти.

И именно Илия является предтечей Судного дня: «Вот Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца детей к отцам их, чтобы Я, пришедши, не поразили земли проклятием» (Малахия. 4: 5–6). Илия и Енох своим явлением предварят Парусию. Мысль об этом знамении поразила Достоевского. Подготовительные материалы к роману «Бесы» содержат заметы о нем.

Фома Фомич пытается узурпировать слово пророческое и праведное, карающее и знаменующее. И поскольку он не обладает ни одной из его данностей, то и оказывается лжепророком — как раз тем, кого и поражает настоящий Илия. Герой сталкивается с такой духовной реальностью, о существовании которой вряд ли даже подозревает. В истории Фомы любопытно почти все. Она притягивает и рассказчика, объясняющего роль шута и тирана обстоятельствами его жизни — воспитанием и характером, что детерминировано в духе «натуральной школы». Но и он часто проговаривается о таинственности, окружающей Фому; настолько тот пленил всех: явился «как приживальщик из хлеба — ни более, ни менее. Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности». «Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, — за что? — неизвестно» (3; 7–8). Попытки же растолковать причины «юрродства» Опискина остаются невосполненными. «Физиологическая» трактовка не вскрывает нечто принципиальное, она онтологически не чутка. Позиция же писателя прочерчена через подобные — высказанные и необъясненные рассказчиком — детали миробытия героев и приметы их характера.

Генерал, за которого вышла замуж матушка Ростанева, отличался странностями, превратившимися в обыденность: «...решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости <...> сделался зол, раздражителен и безжалостен» (3; 6), да к тому же «он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях» (3; 7). Уверенность в отсутствии Бога порождает предельную насмешливость и укореняет в ней. Эту метафизическую пораженность не полагает значимой рассказчик, но она установлена автором, ведь она же определит и поведение Фомы. Сергей Александрович отмечает, что перед смертью атеист «струсил до невероятности», хотя даже после соборования повел себя по-прежнему: «...страдалец (так рассказчик именует генерала. — Е. Т.) успел-таки схватить» свою сиделку — дочь генеральши от первого брака Прасковью Ильиничну — «за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злобы» (3; 9).

Именно в этом мире появляется Опискин, напоминая ветхозаветных пророков, которые были призваны Творцом, чтобы обличать неправедность и богоотступничество. Он ведет себя подобно им и подобно настоящим юродивым, от фигур которых «кривит» Сергея Александровича, причисляющего всех к группе «иван-яковличей»: «Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно

хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего» (3; 8). Ирония не устраняет сам предмет ее; все сказанное реально может быть пророческим даром; одно изъяснение снов многого стоит (вспомним пророка Даниила). Наши сомнения возникают по другому поводу: когда сообщается о мавзолее, «испещренном хвалебными надписями» генералу, в составлении которых принимал участие Фома Фомич. Это противоречит пророческому служению. Да и появление античного знака в контексте русского пространства («разоренное село Князевка») связано с торжеством языческого начала. Оплот его — Фома.

У генерала берет начало сюжет воцарения Фомы; так обнаруживается имя — «двойной», «двойкий», «близнец». Эта семантика (памятуя о зле) есть пример самого откровенного бесовства и вообще антихристианской силы, чьим носителем и выступает Опискин. Рассказчик видит суть проблем в самолюбии и ничтожестве приживальщика, однако сопоставление разных смыслов, различных деталей не позволяет довериться этому непроницательному взгляду. Нельзя положиться на мнение рассказчика и еще по одной причине. Сергей Александрович подробно пересказывает прошлое Фомы, особенно его литературное прошлое, поскольку и сам создает нечто вроде повести о «реальных», достоверных, чуть ли не фактографически запечатленных случаях, а потому обостренно (если не ревниво) воспринимает любой образец сочинительства. Это не дает беспристрастности, хроникальности.

Среди прочего упомянуто и следующее высказывание Опискина: «Не жилец я между вами, — говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, — не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесячно. Грянет наконец мое имя, и тогда — горе врагам моим!» (3; 12–13). Слова героя — претензия на неземную избранность и на удаление из мира во плоти, перверсия тайны Илии. Сведенная к устроению земной славы, «тайна» еще более пародируется Фомой. Озвучена здесь и аллюзия на пушкинский памятник: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» В сниженную тонику попадает также «Пророк» Пушкина. Намек на него не замечен рассказчиком: «Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того» (3; 13). Трудно не опознать облик огненного серафима, но его и не узнает Сергей Александрович; он не чувствует претензию Фомы — быть глаголющим в духе, жгущим по велению Божиему. Даже промелькнувшая в мечтаниях Опискина библейская аналогия (произвести «землетрясение») не останавливает племянника Ростанева. Мы вынуждены продвигаться сквозь интеллектуальные акценты, расставленные по канонам «натуральной школы», и преодолевать их, чтобы опознать истинное положение вещей. Оно заключено в том, что Фома Фомич — двойник

двойника — не только лжепророк, но почти идол, кумир, обольститель; в его образе выражены черты прелестника, какому поклонятся люди в последние времена.

Ведь сам рассказчик утверждает, что уверения Фома обольстили полковника (см.: 3; 13). Он же, описывая «вход» генеральши в дом дяди, характеризует специфику отношений: «Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом — ее идиолом. <...> Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей...» (3; 14). Невольно выстраивается парадоксальный ряд: идольское и ниспосланное, — что принципиально разнится. Ошибка полковника не в почитании себя грешником («во всем виноват!» — 3; 14), а в признании праведником человека, таковым не бывшего. Вина неразличимости — от смешения земных правд и затемнения истинной. Тем страшнее и социальная картина, вырастающая из-под пера Сергея Александровича.

Показателен один эпизод, когда Фома требует особо почтительного отношения к себе:

«— Вы, — продолжал Фома, — вы, который не могли или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, „ваше превосходительство“...»

— Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посягновение, Фома.

— Высшее посягновение! Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! <...>

Говорите за мной: „ваше превосходительство!..“

— Ну, „ваше превосходительство“.

— Нет, не: „ну, ваша превосходительство“, а просто: „ваше превосходительство“! Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям» (3; 87–88).

Социальный жест встроен в систему онтологических координат. Он еще сильнее проясняет идею кумиропочитания. Неуступчивость Ростанева выглядела бы действительно некой гордыней и чванством. Правым был бы Опискин. Но ведь назвать того «вашим превосходительством» — перевернуть космос, подменить основания мира. Это смутно осознает полковник. И этого добивается «сладкогласный человек», как называет Фому Гаврила. Эпитет сразу расставляет все по местам. В Библии сказано о золотом истукане, которому приказал повиноваться Навуходоносор: «Посему, когда все народы слышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий,

то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану...» (Дан. 3: 7). Почти все в селе Степанчикове поступают так же. Даже Сергей Александрович; его озлобление («Злость душила меня». — 3; 88) есть подобный знак. Он сам удивляется: «Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?» (3; 29). История Фомы — втягивание пространства в себя, пользование жизнью в угоду личному «я». В повести ощутима атмосфера исторического конца.

Смысловому средоточию образа соответствуют характерологические детали, постоянно указывающие на кумиротворчество. Бахчеев наделяет Опискина массой удивительных уподоблений: «ракаля анафемская», «Фомка треклятый», «шельмец», «ехидна», «паршивик», «не лицо» — «срам». В другой раз он раздражается тирадой: «Писанный красавец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж все хотите доподлинно знать» (3; 24–25). Если отдельные эмоциональные сравнения создают образ героя из плутовского романа или героя, близкого к мольеровскому Тартюфу, то заострение некрасивости как выразителя внешности, подчеркивание телесной инверсии, означают нечто особое. Но даже и «ехидна» — редкое по разительности слово (ср. с чудовищем из древнегреческой мифологии, полуженщиной–полузмеей). «Паршивик» — намек на нечистую силу. Ту же суть акцентирует смешение верха и низа: перевертыш лица — inferнальный сигнал. В этом окружении схожесть со зверями (саму фразу Достоевский зафиксировал в «Сибирской тетради») — не только язвительное переосмысление перипетий Фомы (тот изображал зверей для генерала), но и прозрачный жест в сторону Апокалипсиса: тех самых «зверей».

Связь Фомы Фомича с «драконом» обнажается в повести. Бахчеев и сердца роняет: «Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что и нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна!» (3; 28). Затем и Саша, плача, выговорит правду о «почитаемом» человеке: «Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка!» (3; 57–58). Бросается в глаза «гастрономическая» ассоциация, общая для двух фраз. Поскольку Фома пытается едва ли не буквально «съесть» Настеньку, борясь одновременно с Егором Ильичем, то естественно предположить, что в тексте повести отражен сюжет чуда Георгия Победоносца о змии. «Звероподобный» Фома — дракон; Егор (Георгий) и обязан его одолеть. Но сначала необходимо вразумиться: назвать идола идолом. Саша в истерике кричит: «Ах, я бы непременно, непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него без ума!..» (3; 58). «Обожать» — обожествление того, кто не Бог: «без ума» — в помрачении. И только когда воля полковника прояснится и он выгонит Фому, произойдет совпадение действия и личного имени, и повторится подвиг Георгия Победоносца. Сражение же идет за Анастасию, чье имя само по себе есть метасюжет повести. В конечном счете это — борьба с лжебогами за воскрешение допотопной жизни.

Ирония «обволакивает» идеи. Достоевскому важно обозначить их без нравоучительной огласовки, какая дурно послужила многим — например, Гоголю. Ирония защищает от назидательности, но не нарушает существенного, драматичного смысла повествования. Такой художественный язык был наиболее приемлем для произведения возврата, где новое мироотношение писателя очерчено как бы графически. При тех жизненных координатах нельзя было ожидать от Достоевского непосредственного объявления идей. Оно состоялось в журналах — «Времени» и «Эпохе».

И еще одно важное обстоятельство. Достоевский опирается на житейный авторитет наиболее почитаемых в простонародье святых. Это слой, который вносит «жизнь» почвенной веры, — и с ее совпадениями с догматическими основаниями Церкви, и с ее отклонениями от них. Путь автора можно обрисовать как движение от подобной мировоззренческой смеси к вере, церковно более строгой: от укорененности — к Центру. Заметим также, что комическая форма, помимо понятных автоцензурных причин, идеально подходила для выявления найденных идей: она вторит народной свободе — вольности и широкости духа.

В отвратительности облика Фомы нас пытается убедить рассказчик. Он словно бы подтверждает слова Бахчеева и Гаврилы, что Фома Фомич — «плюгавенький человечек», определяя его как «педантскую фигурку». Однако его предвзятость накладывает свой неистребимый отпечаток на суждения. Куда интереснее оценки тех, кто менее ангажирован. Таковым становится в повести народный голос.

Когда к полковнику приходят мужики жаловаться на Опискина, то один из просящих припоминает разговор с ними Фомы: «На гумно пришел: „Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?“ А кто его знает? Наука эта не нашинская, а барская. „Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все Божии планиды узнал“» (3; 35). Комментаторы текста в полном собрании сочинений Достоевского указывают, что пассаж Фомы аналогичен статьям из «Сельского чтения», издаваемого В.Ф.Одоевским и А.П.Заблоцким—Десятовским, критическое отношение к которым писатель высказал в журнале «Время». Вот и повесть показывает неприятие подобных представлений. Кроме того, стремление Опискина — абсолютно познать устройство мира, познать тайну Творца. Именно оно и воспринято мужиком с «горькой» улыбкой. Голос же рассказчика вновь демонстрирует невладевание сутью, небрежение сердцевиной проблем. Сергей Александрович аттестует мужика одним из тех, «которые вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово» (3; 35). Будучи наблюдателем, повествователь фиксирует происходящее, но не причастен к глубине его. «Планида» означает судьбу, участь, долю, да и слово «планета» употреблялось в том же значении. «Участь» же, согласно, В.И.Далю, из смыслового ряда, где и Промысел. Следовательно, горечь крестьянина вполне оправдана. Точка зрения народа становится своеобразным эталоном.

Сходная ситуация — в эпизоде, когда Гаврила сдает «экзамен» Фоме по французскому языку. Он и произносит то, что забыто почти всеми героями повести: «Но всяк человек образ Божий на себе носит, образ Его и подобие» (3; 75). Сражение с «тираном» знаменует отстаивание христианской правды. Конечная цель одоления насилия — восстановление Творческого замысла в твари.

Если же отстраниться от метафизических измерений образа Опискина, присмотреться к его психологическим контурам, то видно, что они выписаны вокруг удивительного, почти необъяснимого озлобления. Гаврила, не испугавшись, заключает: «Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами все одно, что малый ребенок: что вы хоть породой и енаральский сын и сами, может, немного до енарала не дослужили, но такой злющий, как, то есть, должен быть настоящий фурий» (3; 75). Из такой характеристики ясно, что Фома едва ли человек. Под сомнение поставлено наличие в нем образа Господня. Грамматическая же форма главной метафоры, какая практически сразу теряет переносное значение и называет персону именем, — «фурий» — отсылает к семантике драконовского, бесовского, чертского. Собственно, слышимо в ней и выразительное отождествление героя и «змея» (потому и не фурия, а «фурий»). Подтекст достаточно явствен. Рассказчик невольно подтверждает сравнение, излагая реакцию Опискина: «— Это еще что? — вскрикнул он наконец, накидываясь на меня в иступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой?» (3; 76). Ср. описание фурии со змеями на голове. Выпад Фомы имеет inferнальную природу. Сергей Александрович же ее не понимает, все переводит в плоскость социально-нравственного изложения.

Якобы «пророческое» слово и произносит в повести тот, кто inferнален. Оно, разумеется, лжепророческо, да и словом едва ли может быть признано. Например, такое: «— Ученый! — завопил Фома, — так кто он-то ученый? Либерте-эгалите-фратерните! Журналь де деба! Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь! Да плевать мне на твой де деба! У тебя де деба, а по-нашему выходит: „нет, брат, слаба!“ Ученый! Да ты сколько знаешь, я всемеро столько забыл! вот какой ты ученый!» (3; 76). Бессмыслица и хаос — принцип речевого поведения Фомы. Постав его эпигонский.

Как эпигон обходится герой и с Гоголем, неверно его толкуя и снисходительно комментируя: «Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает? может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее!» (3; 153). Насколько искажается гоголевское наставление Фомой, очевидно в сравнении: «Русский человек способен на все крайности. <...>

А потому наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. <...> Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастья, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни»⁶. В «Переписке» речь идет о промыслительном перевороте, о духовном и социальном перерождении человека. Фома же, упирая на добродетель (она якобы даже прибавляется), придает мысли пустоту, фактически низводя все до литературной формулы, а не жизненного поступка. Он сентиментализирует идею человеческого пути, обкрадывая и лишая слово онтологической полновесности. Эта серьезность — у Гоголя, хотя к ней и примешивается позирование личности.

«Поучения» Фомы напоминают духовные заповеди лишь формально. Они не более как стилистические кальки их. Совсем иначе, например, наставляет св. Исаак Сирин: «Страх Божий есть начало добродетели»⁷. Как раз его-то и не ведает Опискин. Важнейшее для аскета исполнение у Фомы мертвеет. Гоголь же в своей статье, которую герой Достоевского обильно цитирует, настаивает на действенном изменении человека: здесь не опошляется существо бытия в мире. Переакцентировка Фомы Фомича — по канонам XVIII в., прежде всего сентиментализма, и в частности Карамзина.

Опискин восторженно нарекает карамзинского «Фрола Силина» «высочайшим эпосом» (3; 70). В отличие от этого отзыва Достоевский недвусмысленно, решительно заявлял о герое Карамзина как об образце «ложного представления народа» (см.: 19; 47). Соответственно, эпоха Просвещения, эмблематически представленная именем Карамзина, поклонник которой — Фома Фомич, — отклонение от почвенного бытия. Свойственный ей пафос добродетельного чувства оказывается насквозь порочен. Возможно, эту же фальшь Достоевский ощутил в настроениях «натуральной школы». Оттого и взгляд рассказчика затуманен. Ими же пропитано творчество Ф. Булгарина, чье произведение «Гражданский гриб, или Жизнь, то есть прозябание и подвиги приятеля моего Фомы Фомича Опенкина» могло стать источником при создании образа Опискина⁸. Литературная дидактика, приправленная слезливой риторикой, искажила суть слова, что хранима в народе.

⁶ Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 25.

⁷ Св. Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993. С. 1.

⁸ См.: Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен. Саратов, 1975. С. 38.

Наставления Гоголя попали в общий тон лжепророчества Фомы, но они и отстоят от него. Известно, что Достоевский противоречиво оценивал наследие автора «Выбранных мест...». Так, он утверждал: «Гоголь — гений исполинский, но ведь он и туп, как гений» (20; 153). В письме И. Аксакову от 4 ноября 1880 г. рассуждал: «Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в «Переписке с друзьями») — есть неискренность...» И тут же признавался, что молит у Бога о «сердце чистом, слове чистом, безгрешном, нераздражительном, независтливом» (30; 227). Литературное дело, по мысли Достоевского, не позерство, в чем уличается создатель «Выбранных мест из переписки с друзьями». Вместе с тем очевидно, что творчество Гоголя оказало сильнейшее воздействие на Достоевского. Например, в записных тетрадах 1872–1875 гг. содержится показательная реплика: «А Гоголь был прямой отрицатель всех последствий Петра...» (21; 269). Пожалуй, стоит присоединиться к мнению Л. П. Гроссмана, отметившего, что «мистико-дидактический тон публицистики Достоевского отзывается положениями последней книги Гоголя», а суждения того о торжестве Светлого Воскресения в России «намечают сущность» такой «национально-религиозной публицистики»⁹. Так что «Переписка» взята Фомой в речевой оборот благодаря ее тональности, но не более того.

В «Селе Степанчикове» иронически снижен целый ряд наставлений Гоголя: о единении помещика и мужика, об отеческом отношении к крестьянину, о пороках и страстях, об образовании народа и прочее. Они все базируются на идее добродетели и просвещения, все они моралистичны и близки размышлениям Карамзина. Русский сентименталист писал: «Вообразим двух человек, которые оба злонравны, но с тем различием, что один явно предается своим склонностям и, следовательно, не стыдится их, — а другой таит оные и, следовательно, сам чувствует, что они не похвальны: кто из них ближе к исправлению? Конечно, последний: ибо первый шаг к добродетели, как говорят древние и новые моралисты, есть познание гнусности порока»¹⁰. Вот и Фома печется об избавлении от неких страстей: «...счастье заключается в добродетели», — вразумляет он полковника. Это слово — «добродетель» — рыхло в мире Степанчикова. К примеру, Ежевикин усовещивает Ростанева (после того как был изгнан Фома): «Напрасно, напрасно приволили его так избидеть-с! он ведь из добродетели, от излишнего жару-с так наговорил-с... Сами будете потом говорить-с, что из добродетели, — увидите-с!» (3; 142).

Инвективы Фомы распространятся на все сферы жизни. От писателей Опискин требует создания «нового» героя: «Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, поживуй, хоть даже в лаптях — я и на это согласен, — но преисполненного

⁹ Гроссман Л. П. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919. С. 76.

¹⁰ Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 46.

добродетелями, которым — я это смело говорю — может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский» (3; 68). В статье Карамзина «Нечто о науках, искусствах и просвещении» сказано: «Просвещенный земледелец! — Я слышу тысячу возражений, но не слышу ни одного справедливого. <...> Я поставлю в пример многих швейцарских, английских и немецких поселян, которые пахут землю и собирают библиотеки; пахут землю и читают Гомера и живут так чисто, так хорошо, что музам и грациям не стыдно посещать их»¹¹. Это карамзинские представления связаны с традицией Руссо. Здесь и кроется полемический адресат повести Достоевского. Автор ее не принимает «железные» идеи. Он обнаруживает их социально-психологическую и онтологическую уязвимость.

Само желание Фомы Фомича, чтобы к нему обращались «ваше превосходительство», есть следствие просветительского опыта. Истерический пафос «дружбы», «равенства», «братства», каким пропитаны речи Опискина, особенно после эпизода с деньгами, — копия идей об общественном устройстве, исповедуемых просветителями. В сферу подобной риторичности вовлекаются и гоголевские интонации: повторяя «Переписку», Фома не схватывает смысл в ней сказанного, оттого цитата искажена, выхолощена. Поскольку похожими настроениями были отмечены и 1840-е гг., то разоблачению подвергается и эта эпоха.

Эпигонство Фомы оттеняет опровергаемое всей повестью самообожествление личности, свершившееся и в век Просвещения. Инвективы Опискина направлены на то, чтобы разрушить органику бытия, дезорганизовать национальные основания, в каких присутствует красота и правда.

Ярче всего это поясняет история с Фалалеем. Н. М. Карамзин писал: «Искусства и науки, показывая нам красоты величественной природы, возвышают душу; делают ее чувствительнее и нежнее, обогащают сердце наслаждениями и возбуждают в нем любовь к порядку, любовь к гармонии, к добру, следственно, ненависть к беспорядку, разногласию и порокам, которые расстраивают прекрасную связь общежития»¹². Он же возвещал: «Так! просвещение есть палладиум благонравия...»¹³. «Сон про белого быка» и комаринский вызывают раздражение Фомы потому, что они недостаточно «возвышенны», недостаточно величественны: «...что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужицества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны» (3; 62). Офранцуживание русского мира и служит цели «развития» «простонародной души». Равно танец возмущает сельского идола своим «неблагонравием»: «песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде?» (3; 64). Фома Фомич находит в нем отклонение от пристойной морали, от просвещенного поведения.

¹¹ Там же. С. 53–54.

¹² Там же. С. 52.

¹³ Там же. С. 53.

Кстати, с позиций же нравственно-просветительских оценивает Фалалея сам рассказчик: «Он заливается <...> искренними слезами... Он сочувствует всякому несчастью. <...> Он чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок» (3; 60). Сергей Александрович считает положительными те качества, которые отвергает Фома, но суть их восприятия одинакова. Даже в характеристике комаринского они совпадают. Племянник Ростанева называет героя песни «ветренным мужиком» «с легкомысленными и во всяком случае необъяснимыми поступками» (3; 63). Исходя из этих слов, можно, подобно Фоме, обозвать Фалалея идиотом.

Образ его, при всей, казалось бы, художественной отточенности, представляет из себя загадку. Подчеркнуты, пожалуй, две детали, характеризующие его и воплощающие почвенную красоту: это — предельная искренность Фалалея и интуитивное ощущение им прекрасного. Если перипетии со сном выявляют неподдельность натуры, то история с танцем — связь с магической силой космоса: «...он плясал, как будто увлеченный постороннею, непостижимою силою, с которой не мог совладать и упрямо силился догнать все более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками» (3; 64).

Непостижимость и всеобъемлемость — в почвенной душе, и тогда такой «идиот» — скорее «юродивый», чем сумасшедший или обыкновенный дурак. Не случайна и его детскость. В этом смысле имя Фалалея символично и противоположно имени Фомы: «цветущая маслина» (греч.). При необходимости можно проистолковать образ через дионисийские мотивы, но важнее другое: идея жизненной энергии и полноты, связанная с фигурой Фалалея, чего напрочь лишен Опискин. Из заключения известно о ставшем привычным окаменении «идола»: «...Фома утих, сделался даже ласков и кроток; но зато начались другие, самые неожиданные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический сон, устрашавший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился: в последнее мгновение перед припадком...» (3; 164–165).

Итак, раздраженные наставления Фомы Фомича — извращения религиозных, церковных. Святые Отцы свидетельствуют о подлинной добродетели, берущей исток в хранении заповедей Божиих: «Добродетель не есть обнаружение многих и различных дел, совершаемых телесно, но премудрое в надежде своей сердце, потому что соединяет ее (добродетель) с делами по Богу правый разум», — считает св. Исаак Сирин¹⁴.

Фома — обезьяна европейского гуманизма, доведенного до мизантропии. Но парадокс в том, что и мизантроп-то он какой-то пародийный. По крайней мере таким его воссоздал Сергей Александрович, как в эпизоде, где Опискин разражается тирадой о любви и ненависти

¹⁴ Св. Исаак Сирин. Слова подвижнические. С. 382.

к человечеству (см.: 3; 151). Абсолютно несочетаемый набор фраз и формул выдает внутреннюю нестройность и хаос, царящие в уме героя. Он действительно не мудр. Монологи его напоминают реплики Хлестакова, что еще сильнее разоблачает мир героя. Однако сомнение в том, неужели поведенное племянником Ростанева столь безобразно, предопределяет читательское ожидание перемен, какие и произошли с Фомой. Христианская вера в творение человека по образу и подобию Божию не дает развиться зловещей атмосфере, которая возникла бы вслед за знаками идолопоклонства.

Падение лжеумудреца напрямую связано с праздником Илии—пророка. Тогда и выясняется, что безбожная мораль несостоятельна и есть сила, поражающая ее эфемерное действие, разоблачающая и повергающая кумира. Это день, после которого восстанавливается порядок бытия, восстанавливается иерархия, без которой мир не существует, превращаясь в «бедлам», «содом». Среди множества напоминаний о празднике выделим одно, принадлежащее Бахчеву. Он будит спящего Сергея Александровича известием о бегстве Татьяны Ивановны и восклицает: «...протри глаза—то, отрезвись хоть маленько, хоть для великого Божьего праздника!» (3; 118). Эпитет выбран знаковый. Кстати, рассказчик утро проспал: «Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце» (3; 116). Напоминание звучит как предзнаменование. Позднее выяснится, что никто и к обедне не ходил, «кроме Илюши, Саши да Настеньки» (3; 127). Именно дети окажутся вне кругов скандала, хотя они станут «проводниками» той правды, что разоблачит званого кумира. Уже и бегство Татьяны Ивановны оценивается как «перст Божий», отводящий навязываемую полковнику женитьбу.

Именины ожидаются в качестве решающего события, после которого наступит перемена. Этот мотив усиливается приближением особого знаменования. Мизинчиков спрашивает у рассказчика: «Что это? гроза никак собирается. Смотрите, на небе—то!

— Кажется, гроза, — отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу» (3; 129). Обитателям дома стало известно, что Фома неожиданно «покоен». Близящееся — и сюжетный знак потрясения, и мета-сюжетный знак: реалья Божьего гнева.

Смыслы проявлены в эпизоде чтения на именинах «Осады Памбы». «— Ну, началась история! — прошептал подле меня Мизинчиков. В эту минуту слышались отдаленные раскаты грома: начиналась гроза» (3; 136). Собственно, даже чтение Илюши оказалось выстрелом, поражающим идола. В повести было сообщено, что Ежевикин принес в подарок имениннику «лук и стрелу» (3; 50). Это согласуется с народными верованиями о грозном Илии. В статьях А.Н.Афанасьева, суждения которого критически переосмыслены Достоевским, неоднократно констатируется подобное национальное воззрение: «В эпоху христианскую верование в Перуна, его воинственные атрибуты и сказания о его битвах с демонами были перенесены на Илью—пророка...»¹⁵. О Перуне же замечено,

¹⁵ Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово. М., 1988. С. 266.

что тот, «по преданию, сохранившемся у белорусов, в левой руке носит колчан стрел, а в правой — лук, пущенная им стрела поражает тех, в кого бывает направлена, и производит пожары»¹⁶.

У Достоевского идея наказания — не какая-то «эмблема», «мифология» (терминология полковника Ростанева). Наказание настигает с непреклонностью возмездия, и оно проходит сквозь человеческую душу. «Стрела» его реально поражает личность.

Прочтение стихотворения Козьмы Пруткова нацелено на псевдомонашество. Не случайно Егор Ильич вдруг упоминает бенедиктинцев. Св. Бенедикт Нурсийский — основатель западного монашеского общежития, создатель своего Устава для братьев ордена. Его имя манифестирует европейскую традицию, что соотносима с цивилизацией, какую навязывает русскому пространству Фома. «Осада Памбы» вскрывает и степень той глупости, что торжествует в доме Ростанева благодаря Опискину, и его мнимый «европеизм». Слушает Фома с «едкой, насмешливой улыбкой» (3; 134). Намеченный же им уход из дома с узелком повторяет отступление Дона Педро. После чтения стихотворения местный кумир немедленно раздражается обличением страстей, проповедуя о нравственной «чистоте» и кротости, что параллельно мотивам «Осады Памбы». Направлено обличение на тех, кто по-настоящему «чист», — бывших в церкви: на Настеньку, Сашу и Илюшу, и потому оно вне правды. «Псевдомонах» разоблачен обстоятельствами.

Егор Ильич поступает в соответствии с собственным именем, спасая невесту, не давая ее на съедение. Повергается дракон, идол: «Удар был так силен, что притворенные двери растворились настезь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе» (3; 139). Решительность полковника встроена в космос: «...в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна» (3; 139). Удвоение удара означает, что человеческий шаг — действие Ростанева — не противоречит Божиему соизволению. Гнев Господень обрушивается на лжепророка, только что возвестившего всем присутствующим о своей избраннической миссии: он, дескать, «на то послан самим Богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях!» (3; 139). Изобличен же он, Фома, — изобличен Богом истинным. Падение на землю — недвусмысленное свидетельство разоблачения.

Ряд пояснений продолжают дальнейшие события. Гаврила, «измокший», сообщает, что «лошадь молоньи испугалась и в канаву бросилась», а Фома Фомич, упав, «бок отшибли-с» (3; 143). Затем появляется и сам Опискин: «Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. <...> Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза» (3; 144).

Народный образ Илии-пророка так описывает С. В. Максимов: «На огненной колеснице могучий седой старец, с грозными глазами, разъезжает из конца в конец по беспредельным небесным полям, и карающая

¹⁶ Там же. С. 222.

рука его сыплет с надзвездной высоты огненные каменные стрелы, поражая испуганные сонмы бесов и преступивших закон Божий сынов человеческих»¹⁷. Стрелы настигли Опискина. Даже в его репликах, остающихся по-прежнему болезненными и риторически приукрашенными, проскальзывает осознание низвергнутости: «Падая из окошка, я думал про себя: „Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!“», «Тут я ударился оземь и затем едва помню, что со мною дальше случилось!» (3; 149), «Что случилось после моего падения — не знаю» (3; 149), «...я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навек!» (3; 147), «Правда ли, что молния поразила меня?» (3; 146) и т. д.

Фома захотел прослыть небожителем, а в результате не осталось сомнений, что он вовсе не «ангел», пусть обитатели усадьбы и верят еще в «посланника». Однако молния, если даже и поразила его, то не убила. Остается шанс на изменение: самообожествление и кумироподобие могут быть устранены. Взамен их утвердится человеческое. После удара восстанавливается способность постигать целое жизни. Благословение Фомы Фомича, адресованное полковнику и Настеньке, — вхождение во вновь возрождаемое космическое единство. В этот момент благословения совпадают слово, жест и оправдание личности. Ласка, торжественность и восторг Опискина — не маска, не обман.

В сцене помолвки выявляется подлинный центр миробытия. Девушка Перепелицына вспоминает вдруг, что в таком случае надо «свечу Богу зажечь—с, образу помолиться, да образом и благословить—с, как всеми набожными людьми исполняется—с...» (3; 150). Икона Спаса и есть послегрозовая милость во образумление. Обращена она ко всем обитателям Степанчикова, даже тем, кто по духу антипод Фомы Фомича. Например, к полковнику Ростаневу.

Он наделен верой в младенческую невинность других, в каждом лицезреет ангела. Подчеркнутая близость героя к народной жизни, отсутствие в его поведении влияния западной цивилизации делают образ носителем зиждительных сил христианской онтологии. Однако Достоевский создает отнюдь не идеальный тип, он отмечает и его противоречивость: слабость воли, неспособность отвергнуть зло и одолеть кумира изначально. Прекрасное и положительное в характере окружено комическим. Герой лишен рефлексии, умения разумно решать проблемы. Но чистота души прочно роднит его с патриархальной крестьянской общиной, что контрастирует с комическим уродством Фомы Фомича.

Пристальнее взглянем на некоторые стороны создаваемого образа. Прежде всего заметим его эпический масштаб. Рассказчик не медлит воссоздать его, описывая полковника: «Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая

¹⁷ Максимов С. В. Куль хлеба. Нечистая, неведомая и крестная сила. Смоленск, 1995. С. 629.

кость, зубами, с длинным темно-русый усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою» (3; 5). Уже это предполагает отличие от фигуры Опискина. Ростанев как бы инперсонален. Такие координаты явно проистекают от его имени и отчества. Недаром в народе смешиваются Илия-пророк и Илья Муромец. Затем в повести уточняется, что внешние и внутренние качества полковника органичны друг другу: «Мало того, что дядя был добр до крайности, — это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. <...> Душою он был чист как ребенок. <...> Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо напрягают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя» (3; 13–14). Целомудренность есть условие его существования. Она осмысливается как ядро Божиего образа и человека. Однако это не мешает быть ему затемненным. Обратная сторона — «зверение» себя другим без оглядки, забвение заповеди — о сотворении кумира. Тогда «добрая» натура превращается в «добренькую», как замечает Ежевикин (3; 141). И все-таки только такая доброта приводит к прощению. Полковник говорит своему племяннику: «Добродушия в тебе мало, Сережа: простить не умешь!..» (3; 107). Прощение противостоит гордости. В реальном его осуществлении кроется много идиллической сюжетной развязки, хотя на пути к ней необходимо действие полковника, повергающего дракона.

Символически прозвучали в произведении слова Видоплясова, шутлившего пьяного Коровкина:

«— Почтительнейше осмелюсь доложить-с <...> что Коровкин изволят находиться не в своем виде-с.

— Не в своем виде? как? Что ты врешь? — вскричал дядя.

— Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с...» (3; 156). Комизм возникает благодаря нелепости фразы, но ей же благодаря обозначается причина обольстительности: утрата «трезвого» мировосприятия. Вообще по всей повести рассыпаны сравнения человеческого слова и поступков с умопомешательством («идиот», «дурак») и опьянением. Сюжет ведет героев к протрезвлению, какое случается в день Илии-пророка.

Игор Ильич признается племяннику, что, выгоняя Фому, «не владел собой»: «Когда он сказал давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило» (3; 160). Деяние полковника — ответ «змею». Но важно и то, что он и себя начинает осознавать иначе. И для него Илия пророк открыл забытое. После благословения брака полковник радостен и растерян: «...я до сих пор как будто не верю моему счастью... Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем Всевышнего. <...> Понеришь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся несть: и верю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем

я заслужил?» (3; 159). Благое сложение жизни — после изгнания беса (Фома сам, кстати, утверждает, что был «злоствующим на весь род человеческий», стал «бесом гнева и мстительности», «готов был кидаться на людей и терзать их». — 3; 148). За решимость и бескомпромиссность Ростанева и ниспослано восстановление порядка. Но не за жестокость.

Полковник кается по-настоящему, и покаяние воздается: «Не знаешь ты, Сережа, — продолжал он с глубоким чувством, — сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это все вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья. Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у Бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать все добрые дела...» (3; 160). Выстраивается искомая иерархия: Творец — Анастасия (ангел) — ближний — я. Здесь уже нет места для воздвижения кумира.

Онтологическая структурированность жизни выдвигается на первый план, когда Настя оказывается невестой полковника. Он и сам подтверждает, что его «ангел» обращает мысль ко Всевышнему, с «ангелом» и опознается цель общего существования. Настя — Анастасия — софийный образ. Единение и исцеление пространства свершается с его утверждения в смысловом центре.

Когда Фома выброшен из дома, генеральша молит не кого другого, как гувернантку, чтобы та упростила «Фому Фомича воротить!...» (3; 140). Сюжетно так повторяются детали чуда Георгия о змии: спасенная царевна ведет дракона за веревочку. Да и притихший, присмиривший Опискин станет другим: «...уже не бранился по-прежнему, — не было таких сцен, как „ваше превосходительство“, и это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и кой в чем покориться» (3; 164). Укрощение произошло тихой любовью и почтением к страданию. Однако это не вторичное помешательство. Рассказчик полагает, будто «Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю *почти*, потому что Настенька тоже лелеяла Фому...» (3; 164).

Ангелическая исполненность подобной Софии придает окончанию повести оттенок метафизического благополучия, она же, смещенная к социальным мотивам, окрашивает историю в «розовые» тона. Своеобразный рай воплощается на земле — вокруг мудрости. Ссылаясь на невесту, Ростанев восклицает: «Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила...» (3; 161). И тут же отмечает, что «после грозы-то все вокруг повеселело, обмылось!...» (3; 161)¹⁸. София оказывается живой водой, очищающей от скверны и раскрывающей красоту.

¹⁸ «По народному поверью, для нечистой силы страшен не только сам Илья, но даже дождь, который проливается в его день, имеет великую силу: ильинским дождем умываются от вражьих наветов, от напусков и чар» (Там же. С. 631).

Социальное христианство Достоевского 1850-х гг. сводит прекрасное и добро, уравнивая их, к некой онтической данности, в результате чего метафизическая символика одомашнивается, оземляется. И психологизируется. Вот и София в повести — некая душевная теплота, потаенная мука и явленное смирение. В заключении сказано: «Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им Господь, что не стоят они такой милости, и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями» (3; 164).

Софийность предстает здесь в качестве христоподобного личного пути, на каком выправляется образ человеческий, о чем пекутся многие из обитателей Степанчикова, но не все из них к тому готовы. Не случайно назван круг чтения Настеньки — «жития святых» (3; 166). Удивляет рассказчика и образ жизни героини: «беспрерывно молится» (3; 166). Анастасия — христианская София, средоточие «почвенности». Она и есть самое серьезное опровержение лжепророчества.

И еще. Для Достоевского принципиально важно, что Настя единит собой народную душу, христианскую веру и истинное просвещение. Она, пожалуй, единственная из всех, кто получил «прекрасное образование» (в учебном заведении, в Москве) (3; 18). Она носительница настоящей интеллектуальности, отличной от мнимой образованности Фомы и даже рассказчика, а также от понятного невежества полковника. Она сама единство всех сфер, с ней и всечеловечество становится собой. Это женское начало космоустроительно, и оно весьма мужественно. Андрогинная София венчает историю.

Социальный финал — мечта о примирении полярных сил русской нации. В «Объявлении о подписке на журнал „Время“ на 1861 год» Достоевский заявит: «Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь» (18; 37).

«Село Степанчиково и его обитатели» — литературный опыт этого примирения и вступления в «новую жизнь».